

【講演記録】

以下に掲載するのは、2004年9月29日にアレクサンドル・パーヴロヴィチ・チュダコフ博士（1938年生まれ）が、東京大学文学部スラヴ語スラヴ文学研究室で行なった特別講演の記録である。チュダコフ氏はロシアを代表する文学研究者の一人で、特にチェーホフの「詩学」の研究で国際的に著名な存在だった。モスクワの世界文学研究所の研究員を1964年から務めるかたわら、モスクワ大学教授も務め、ペレストロイカ以降は欧米の大学に招かれて教えることも多かった。2004年の来日は、チェーホフ没後100周年を記念して日本で企画された一連の行事のため、私（沼野）が招聘事務の中心となったため、来日中のチュダコフ博士と接する時間も長く、強い刺激を受けた。特に感銘を受けたのはチュダコフ氏の学問に打ち込む情熱と集中力の並外れたすごさで、学問の話をし出すと他の世俗的・現実的な問題など一切そっちのけで止まらなくなる迫力に私は打たれ、研究者というものはこうでなくてはいけないのだ、と改めて思い知らされた。私がおのち、チェーホフ研究に向けて舵を切ったのも、いまから考えるとチュダコフ博士の激励によるところが大きい。道に迷った私に対してチュダコフ博士は、文学研究ほど大事なものはこの世にない、と言わば身をもって教えてくださった。

東京大学での講演では、学会報告や大聴衆向けのシンポジウムとは趣を異にし、ソ連の文学研究界の内情や学者どうしの人間関係も含めて自由闊達にお話いただいた。そのため、この時代の文学史的証言として貴重なものになったと思う。ここにロシア語のまま掲載することとした所以である。ロシア語テキスト作成にあたっては当時スラヴ語スラヴ文学修士課程に在籍していたエカテリーナ・グトワさんにご協力いただいた。なおやはり当時大学院博士課程に在籍していた河尾基氏に書いていただいた聴講記が、スラヴ語スラヴ文学研究室のホームページに掲載されている。

<http://www.l.u-tokyo.ac.jp/~slav/special/sp20040929.html>

チュダコフ博士はこの来日からちょうど一年後、2005年10月3日に不幸な事件に巻き込まれ（その真相はいまだに分かっていない）、急逝された。まだ67歳の若さだった。研究者としてだけでなく、小説家としての評価も高まっていた時期で、これからまだまだ精力的に著作活動を続けられると期待していただけに、あまりにも残念で衝撃的な報せだった。（沼野充義記）



東京大学文学部スラヴ語スラヴ文学演習室で、図解しながら熱のこもった講演をするチュダコフ博士

Александр Чудаков

Судьбы русской филологической науки

в 50-60-х годах XX столетия

Лекция на кафедре славистики Токийского Государственного Университета

29 сентября 2004 г.

Сколько я должен говорить, примерно час? Кто говорит больше часа, это неправильно. Когда Якобсон после съезда славистов приехал в Москву, он выступал в университете и говорил, наверное, минут сорок, а все говорили: ещё и ещё, - потому что Якобсона, конечно, интересно слушать. А он сказал, что академический час 45 минут придумал кто-то очень умный, что после этого внимание рассеивается. Он резко выразался: тот, кто затягивает время – негодяй, или мерзавец, - что-то он сказал в этом роде.

Я хотел рассказать вам о своих учителях и о научной ситуации в 50-х годах. Я поступил в Московский Университет в 1954-м году, очень давно, и вообще я очень старей. Когда я прихожу иногда к некоторым студентам, у них на лицах такое выражение, как будто они думают, что я давно умер. Книжка вышла в 1971-м году, так давно, и они удивляются, что я еще хожу. Но я уже привык. Шкловский однажды рассказывал, что когда он приехал в Чехословакию - а он был там очень популярен - один студент подошёл к нему и сказал: «Я думал, что Вы давно покойник».

Когда я учился в университете, это были последние годы, когда там работали выдающиеся учёные, и их имена все, несомненно, знают: это Гудзий (автор учебников), это Кузнецов (знаменитый лингвист, специалист по древнерусской литературе), это Ожегов (автор знаменитого словаря), это Черных (автор знаменитого этимологического словаря), это Виноградов, это Бонди, - и многие другие, не такие крупные, но тоже авторы учебников: Соколов, Оксман и т.д. Кроме того, мне очень повезло, что я общался с такими людьми, как Шкловский, Бахтин, Лидия Яковлевна Гинзбург, Оксман, Лосев и т.д. Поэтому у меня, конечно, много впечатлений, и я о многом могу рассказать, но успею рассказать только о немногом.

То, что были живы такие люди, имело очень большое значение. Потому что, когда говорят, что в 50-е годы в Советском Союзе было состояние несвободы, это правда, но когда читал лекции Бонди, он как-то забывал, что нет свободы. Например, имя Андрея Белого не рекомендовалось упоминать... Тут есть еще один момент: многие думают, что некоторые имена были запрещены официально, что был такой указ, - это не так. Некоторые имена не были запрещены официально, но многие, кто очень прислушивался к начальству, понимали, что лучше эти имена не упоминать. Такие имена, как Есенин (он не был арестован, но лучше не упоминать), Андрей Белый, Кузьмин (тоже умер своей смертью, но тоже лучше не упоминать). Мандельштам был репрессирован, его нельзя было упоминать официально. Гумилёв – настолько нельзя было упоминать! Гумилёв – единственный, пожалуй, из всех репрессированных, у которого была реальная вина, было дело Таганцева, там много неясного, но во всяком случае было что-то реальное. Потому что все остальные были репрессированы, но ведь они ничего не делали против советской власти, как все знают хорошо. Когда мы с Тоддесом и Мариеттой Чудаковой писали комментарий к сборнику Тынянова «Поэтика. История литературы. Кино» (мы его называем «ПИЛК») и нам нужно было упомянуть

Александр ЧУДАКОВ

Гумилёва, то мы писали «муж Ахматовой», потому что иначе было нельзя. Или, например, нам надо было упоминать Питирима Сорокина, и мы написали «П.Сорокин», а редактор смотрел очень внимательно и спросил: «Это кто – Сорокин?» - мы говорим: «Это Пётр Сорокин, обычный историк». Ну, хорошо. Так что за этим смотрели очень серьёзно. И уже в 80-е годы, когда я писал комментарий к Чехову, имя Мережковского снимали из комментария, хотя уже давно умер Мережковский.

Но при этом Бонди в лекциях не только упоминал имя Андрея Белого, но и рассказывал нам о нём, о том, какой это был гениальный человек; то, что Андрей Белый написал, это лишь малая часть того, что он знал. Бонди рассказывал о всяких его чудачествах: например, когда Андрей Белый читал лекцию, он вдруг опускался за кафедру, его было не видно, и он только сверху руками показывал что-то. Или рисовал графики, глоссологии всякие и т.д. Он говорит, что когда Андрей Белый говорил, то это было ощущение гениального человека. У меня было такое ощущение, когда я разговаривал со Шкловским. Это действительно так, но это очень трудно описать. Во-первых, Шкловский никогда не говорил о бытовых вещах. Вот, скажем, к нему приходишь, только ещё снимаешь пальто, он не говорит: ну как здоровье, как жена, - ничего не говорит. Он говорил сразу: «Думаю о Толстом». И начинал говорить о Толстом. Как-то он спросил: «Что вы делали летом?» А а мы тогда с женой ездили на лодке, на байдарке по реке Упе, которая в Тульской области. Я сказал: «Мы плавали на лодке по реке Упе». А он сразу: «А! В Тульской губернии». Ну там уже Толстой, зелёная палочка – и всё, разговор идёт уже о Толстом. Ну или он даже писал (у меня сохранились его открытки): «Приходите, поговорим о формализме. Вы о нас много знаете. (Подпись)»

Дело в том, что в 60-е годы формализм, как вы знаете, был не запрещён, но и не разрешён. И было странно, что к такому человеку, как Шкловский, ходили домой только американские аспиранты-слависты, которые интересовались формализмом, а из русских, кажется, только один я. Во всяком случае на Новый год – я помню Новый год 69-го года – были только мы с женой, кто-то из артистов и еще жена покойного Олеси и всё. И никаких молодых людей не было. А я познакомился с ним так: он выступал в университете и говорил о формализме, коротко; а я тогда уже интересовался формализмом, читал их сборники. И я подошёл к нему и задал вопрос, потому что тогда было неясно: у нас писали, что Жирмунский тоже формалист, но мне казалось, что нет.

И я задал ему вопрос. Он говорит: «Жирмунский был формалист, но испуганный формалист». Потом он посмотрел на меня и говорит: «Приходите. Будем говорить о формализме». У него не было никаких условностей: удобно – неудобно. Главное, нужно было говорить о деле. Он очень много написал, наверное, 50 книг, а, может быть, и больше, но знал он ещё больше; и на темы, которые он поднимал, иногда говорил не совсем то, что он писал, а вариации, и эти вариации были интересные. У меня есть опубликованные мемуары о Шкловском, туда вошли многие из моих записей. Когда он говорил, я записывал. Сначала я брал стакан с карандашами, ставил, чтобы было не видно, но потом я понял, что он не замечает, что я делаю, ему было как-то всё равно. Он думал только о существе дела, о том, что нужно сказать.

Я записал тогда очень много интересных высказываний. Например, об идее изоморфизма, её ведь тоже формальная школа высказала. В разговоре со мной он сказал, что художественное произведение – как ёлка: каждый уровень изоморфен следующему. Мне кажется, это очень наглядный, очень хороший пример. Вообще графическое изображение чего-нибудь иногда в науке значит очень много. Все помнят, что знаменитая модель атома, которую в своё время придумал Резерфорд, двинула физику вперёд, хотя атом устроен совершенно не так. Или он говорил, что сюжетное произведение (где быстро развивается сюжет) – как лыжник, который спускается с крутой горы: всё время движение убыстряется, потом на некоторых ямах тормозит, потом снова быстро и т.д. У него постоянно были очень интересные образы, которые помогали хорошо представлять сложный вопрос.

Когда мы добивались того, чтобы издали Шкловского, Тынянова, Виноградова, – это всегда было очень сложно. Комментарий к Тынянову («Поэтика. История литературы. Кино») мы издавали пять лет: мы сдавали его, нам возвращали, мы добавляли, что-то сокращали, переносили в другое место и т.д. И так тянулось пять лет, и потом всё-таки издали. Весь вопрос был в том, кто окажется упрямее. И Шкловский, когда получил эту книгу, сказал: «Вы их переупрямили». Это было первое издание, полное Тынянова: там мы привели отрывки из его писем, другие неопубликованные вещи. Я думаю, Тынянов был самым крупным теоретиком литературы в XX-м веке. И Шкловский говорил о нём так: «Читал Тынянова. Это очень странно, когда человек твой товарищ и ты понимаешь, какой он гениальный». Он, наверное, понимал и раньше, но вот так он об этом говорил.

Александр ЧУДАКОВ

Достаточно сказать, что редактор в издательстве «Наука», где издавалась книга Тынянова, сначала была редактором журнала «Цирк». Она сама когда-то работала в цирке, не как гимнастка, а как администратор. Я каждый раз нёс ей большой букет цветов, потому что мне кто-то сказал, что она так привыкла. Всё было очень сложно, но в конце концов мы книгу издали.

А лекции у нас читал академик Виноградов. Вы все знаете Виноградова, замечательного лингвиста. Многие считают, и я тоже так считаю, что в ряду людей, которые писали о русском языке, таких как Буслаев, Ломоносов, Потебня, Шахматов, следующее имя принадлежит Виноградову. Он, наверное, самый крупный лингвист, специалист по русскому языку в XX-м веке. В его книге «Русский язык» есть очень интересные вещи: он подсчитал служебные слова в русском языке, и у него есть список служебных слов, около 70. А академик Зализняк, тоже известный лингвист, в своё время сделал на компьютере выборку из миллиона текстов. Оказалось, что у Виноградова – 72, а компьютер насчитал 73. А Виноградов делал это, конечно, без всякого компьютера.

Судьба была его нелегкая, в 1934-м году он был арестован по «делу славистов». Было «дело славистов»: считалось, что за границей существует национал-фашистская группа, в которую входят Трубецкой (известный великий лингвист), Богатырёв Пётр Григорьевич (фольклорист, тогда жил за рубежом, а потом он вернулся) и Дурново (который ездил в командировку в Чехословакию, когда он вернулся, его арестовали). Арестовали тогда многих крупных славистов: Ильинского, Селищева и т.д. И почти все они не вернулись к научной деятельности. Селищев после выхода из лагеря быстро умер, Перетц был уже старый и перестал заниматься, Дурново умер в лагере. И много было молодых лингвистов, которые начинали и перестали заниматься. Т.е. советская лингвистика очень сильно обеднела после этого процесса.

Но Виноградов продолжал заниматься наукой. Он и потом его жена рассказывали: он был сослан в Вятку (после убийства Кирова переименована в Киров) и жил там в доме железнодорожного рабочего. В доме была перегородка: на одной стороне жил этот рабочий с женой, а на другой Виноградов. И у них целый день играло радио. Простые люди в России считали, что если радио подключили, надо, чтобы оно играло целый день, - просто привычка такая была. Виноградов привык радио не слушать, и ему мешало только то, что местные дикторы делали много ошибок в орфоэпии: неправильное ударение и т.д. И он говорил, что это очень мешало ему

работать, ему хотелось их поправить. Он написал много писем оттуда жене. Он вообще очень много работал, в том числе и там.

Я был у него аспирантом. Когда я поступил к нему в аспирантуру, он дал мне свой телефон и сказал: «Звоните в пять или в половине шестого». Я, конечно, подумал, что - вечера. И звоню один день, другой – никто не подходит. Когда он пришёл на кафедру, я говорю: «Виктор Владимирович, я звонил, но никто не подошёл». Он говорит: «Не может быть. В пять я уже на ногах». Т.е. в пять утра он уже вставал. Я, конечно, как все аспиранты, спал до девяти - аспирантам ходить на занятия не надо. Я спрашивал у его жены, когда же он ложился? А ложился он, как обычно, в 12, в начале первого. Т.е. он спал, очевидно, пять часов.

Он написал - никто точно не знает сколько, но с покойным академиком Толстым мы пробовали считать - 40 толстых томов. Сейчас издана его «Поэтика» и его «Литературоведение» в семи томах (я принимал участие в издании четырёх томов), но это небольшая часть. Вы все знаете его книгу «Стиль Пушкина» (вообще он писал очень толстые книги), многие говорят, что там слишком много материала, - но Виноградов был в этом не очень виноват. Потому что, когда он был в ссылке и ему попадали в руки какие-то книги, он не знал, что будет дальше и хотел это всё в одну книгу впихнуть.

В ссылке у него были большие неприятности. Он собрал материал для книги «Русский язык» - все знают, какой это огромный труд. А за ним смотреть приставили хозяина квартиры, этого железнодорожного рабочего. И рабочего спросили: «Что делает Виноградов?» - «Целый день читает какую-то толстую книгу, наверное, Библию». А это был словарь Даля. Приехали один раз на грузовике НКВД, собрали все материалы, все книги и увезли – увезли работу последних трёх-четырёх лет. Все знают, что такое работа лингвиста: если у вас забрали карточки, то всё пропало. Жена сказала, что он всегда был человеком твёрдым, не пессимистом, но тогда он сказал: «Если мне не вернут мои материалы, я застрелюсь». Она пошла на Лубянку к следователю, который с Виноградовым ещё здесь разговаривал, и поговорила. А надо сказать, что он сидел на Лубянке полтора месяца в одиночной камере и там писал работу «Стиль “Пиковой дамы”», которую все знают. Ему разрешили туда передать книгу, жена принесла ему прозу Пушкина, и он писал там замечательную работу полтора месяца, не зная ещё, какая его ждёт судьба, его всё время вызывали на допросы. Вот такой он был человек. А заканчивал он эту книгу в ссылке. И она пришла к следователю, и выяснилось, что это

Александр ЧУДАКОВ

инициатива местного НКВД, что из Москвы не было приказа арестовать архив Виноградова. Власти в Москве были даже недовольны этим, и ему всё вернули. Так что обошлось. Но его выпустили раньше срока, потому что начал выходить словарь Ушакова. Многие участвовали в этом словаре, в том числе профессор Винокур и партийный деятель Мещерский, который сказал, что «без Виноградова этот словарь мы не издадим». Виноградова отпустили, и он стал работать в этом словаре. Ушаков в первом томе снял его имя. Хотя все служебные слова, например, о союзе «и» три страницы петитом (очень сложный союз в русском языке) – это принадлежит Виноградову, а там этого не написано. Вот такая у него была тяжелая судьба.

У меня всегда было впечатление, что он прочитал все русские книги XIX века. Может быть, это не так, но мне не встречалось случая, чтобы я говорил о какой-нибудь книге и он её не читал. И он, кроме того, читал не только филологические книги, он читал учебники ботаники, геологии, юридические документы, медицинские лечебники – то, что никогда не придёт в голову читать филологу. Жена говорит, когда он был на приёме у зубного врача, там лежали книги по зубной технике, он тоже их читал и всё запоминал. У него была исключительная память.

Когда он умер, я приходил к его вдове. Он умер, когда ему было 74 года в 1969-м году, а вдова жила долго, она умерла в 90-х годах, ей было 93 года. Примерно через месяц после его смерти я пришёл к ней. Я тоже был с ней очень хорошо знаком; она музыкальный педагог: народная артистка, известная певица Архипова – это её ученица; нынешняя звезда Казарновская – тоже её ученица, и много ещё других. Я спросил её о картотеках Виноградова, она сказала: «У него не было картотек». Я очень удивился, и все, кому я рассказывал, все очень удивлялись. Все, кто читали его работы, знают, что у него на каждой странице десятки сносок, и он не вёл картотеку, он всё это помнил. Это, конечно, совершенно удивительно. И он хотел, чтобы все так занимались. Когда мы составляли аспирантский план, он, помимо немецкого языка, написал мне польский язык (я, конечно, тогда не хотел, но потом был ему благодарен). А ещё он написал мне греческий – я пришёл в ужас. Зачем мне греческий?! Я занимаюсь русской литературой, а тут нужно потратить полтора-два года на греческий. Я твёрдо сказал: я греческий не буду изучать. Он считал, что филологическое образование должно быть старым: латинский, греческий. У него ранние есть работы о переводе Священного писания с греческого на старославянский, т.е. он греческий знал.

Ещё расскажу о нём одну небольшую деталь. Он был человек, не знаю, можно ли сказать, отважный, смелый, но иногда он не очень думал о последствиях. Например, был юбилей Чернышевского (Виноградов тогда уже был академиком). Собрались музейщики, деятели культуры, академики, обсуждали, как отметить Чернышевского. Повестка дня: издать новое собрание сочинений, двухтомник популярный, провести собрание в Большом Театре и т.д. Последний пункт: назначить персональную пенсию внукам Чернышевского (они обычные люди, работают и живут в Саратове, кто-то из них был учитель, получают маленькую пенсию). Председатель, из Центрального комитета, какой-то партийный, как у нас говорят, «бонза» (в русском языке слово «бонза» имеет отрицательную коннотацию), этот партийный бонза говорит: «Кто за то, чтобы дать пенсию внукам Чернышевского?» Все поднимают руки. «Кто против?» - Виноградов. «Виктор Владимирович, Вы забыли опустить руку?» - «Нет, я не забыл. Я против». – «А почему?» - «Как известно, дети Чернышевского... Ну, Ольга Сократовна... Чернышевский их отцом не был. Поэтому они к Чернышевскому, революционеру-демократу, не имеют никакого отношения. И поэтому им не нужно давать пенсию». Все замолчали, и этот партийный деятель, опытный человек, настолько растерялся, что говорит: «Перерыв!» А пенсии всё равно дали.

Например, Академика Храпченко (ударение на первом слоге) – тоже был такой деятель, потом стал академиком-секретарём – Виноградов всегда называл Храпченко (ударение на втором слоге), намекая на то, что он из простого народа: был в Москве известный извозчик Храпченко, какой-то был повар. Храпченко действительно был необразованный человек, писал очень плохие книги, такой партийный деятель. Как-то шёл разговор о науке (а тогда было время Хрущёва), и Виноградов сказал: «Ну, что Хрущёв, он же совсем необразованный человек, он в этом ничего не понимает.» Кто-то донёс, и его сместили с директоров Института русского языка, который он основал. И последние два-три года он был не у дел, я думаю, что ему это было грустно.

Тогда еще многие были живы. На наши вечера приходил Кручёных, но он так выступал, что было ничего не понятно. Хотя он не говорил заумные слова, у него был заумный синтаксис и какие-то неожиданные идеи. Я хорошо помню, как он почему-то вдруг стал говорить про первую мировую войну. Говорит: «У солдат на фронте было много вшей. А во вторую мировую войну у советских солдат не было вшей, поэтому мы

Александр ЧУДАКОВ

выиграли войну». Так сказал и дальше стал говорить о чём-то совершенно другом. Иногда говорил какие-то интересные вещи.

Совершенно особая область была Ленинград (Петербург). Когда я приезжал в Ленинград на несколько дней, я всех обходил. Первый визит был к Лидии Яковлевне Гинзбург, потом к Григорию Абрамовичу Бялому (известный чеховед), не всегда, но заходил к Дмитрию Сергеевичу Лихачёву. В последние годы, когда приезжаешь в Ленинград, заходить уже было не к кому. Л.Я. Гинзбург была очень интересным человеком. Она всю жизнь вела записи, которые не публиковались 40 лет. Когда мне жалуются аспиранты, что прошло два-три года, а их книга, статья не напечатана, я не говорю, но думаю: Лидию Яковлевну не печатали 40 лет, но она знала, какого качества её записи. Я не верю, когда говорят: вот писатель написал и он сам не знает, что он написал. Мне кажется, что человек, который написал «Даму с собачкой», знает, что он написал. Он знает, что это лучший рассказ этого времени. Потому что если он не понимает, он не напишет. И каждый учёный тоже знает, на самом деле, свой уровень. Она окончила университет, у неё не было работы, она должна была ездить в Петрозаводск, а ехать туда целую ночь. Три дня в неделю там работала, потом возвращалась. Она работала в блокадном Ленинграде, потом написала об этом «Записки блокадного человека», мне кажется, это замечательная проза.

Конечно, с ней было очень интересно разговаривать. Например, она рассказывала про Николая Олейникова: какой он был замечательный поэт, очень остроумный, любил всякие шутки. Он сначала жил в Полтаве и хотел переехать в Москву, это ещё в 20-е годы. Тогда ещё не было советской власти, были ревкомы – революционные комитеты. И он пришёл к председателю ревкома и сказал, что он хочет ехать в Москву, но в Москву не всех принимают, а только красавцев, и он хочет, чтобы ему дали документ, что он красавец. А он действительно был очень красивый мужчина, его очень любили женщины. Этот простой матрос посмотрел на него и говорит: «Пожалуй», - и написал. Сейчас эта бумага есть в музее: «Настоящая справка дана Николаю Олейникову в том, что он действительно является красавцем. (Подпись и печать)». Они вообще были очень остроумные люди, и они работали в детском журнале, потому что их не печатали. А Хармс... В Петербурге на Литейном есть высокое здание с куполом и там широкий карниз. И Хармс вылезал из одного окна, шёл по карнизу, там было другое окно, но он останавливался, ни за что не держался и кричал: «Подписывайтесь на журнал “Ёж”!»

Публика останавливалась в ужасе: человек стоит на карнизе, там седьмой этаж, разобьётся! «Подписывайтесь на журнал “Ёж”!» Было ясно, что если не подпишутся, то он сейчас упадёт. Кто-то догадался сказать: «Все подпишемся! Иди обратно!» Такие она рассказывала вещи, эта история, наверное, не вошла в мемуары. Она ещё рассказывала: пришла в библиотеку, видит Олейников сидит читает, она подошла – книги по математике. Он собрал их, чтобы она не видела. Он действительно очень хорошо знал математику, занимался, но эти его бумаги при аресте пропали. Кто-то говорил, что он решал какую-то задачу, может быть, теорему Ферми или что-то еще. Есть такие задачи, которые решают по 30, 40, 100 лет, вот он одну какую-то из них решал и был, как будто бы, близок к решению.

Когда рассказывают о 30-х годах, нужно знать, что не всё было однозначно. Например, Виноградов был в ссылке, но его печатали. Причём, это зависело от личной смелости редактора. Вот «Стиль “Пиковой дамы”» напечатал замечательный учёный Юлиан Григорьевич Оксман, который тогда работал в Пушкинском доме. А вот Ушаков снял фамилию Виноградова. Т.е. прямого приказа не печатать не было примерно до 1938-го года. Вот Жирмунский, он тоже был в ссылке, но он выпустил тогда свою «Диалектологию германских языков» и что-то ещё. Кто-то его напечатал. Ситуация тогда была неоднозначная. Кто занимается советской культурой 30-х годов, должны помнить: многое не было запрещено, но и не рекомендовалось. Например, Есенин, он даже вышел (в 46 году вышла его книжка), но он не входил в программы, его не изучали. У Солженицина об этом есть: у него отобрали эту книжку при обыске, когда он был в лагере, и он написал жалобу. Начальник лагеря вынужден был эту книжку вернуть, потому что ни в какой инструкции не было написано, что Есенин изымается. Но потом, после 1937-го года, были специальные списки книг, которые изымались из библиотек.

Теперь я хотел ещё сказать вот о чём. Мне представляется, что формальная школа была самой крупной после психологической школы, которая идёт от Гумбольдта (русским представителем был Потебня). Формальная школа была самой крупной школой XX века, потому что она изменила ситуацию в филологии. Потому что ни одна школа не может похвастаться количеством таких категорий, как сюжет, фабула, остранение, теснота стихового ряда, - это всё ввели формалисты. Структурализм тоже сделал много полезного, но он не ввёл принципиально новых категорий. Он перевёл многое на более точный язык, ввёл строгость описания. Но структурализм не очень

Александр ЧУДАКОВ

популярен, это говорит о том, что это не совсем новое течение, а скорее развитие некоторых идей формализма.

Я у Шкловского спрашивал (ведь он написал «Искусство как приём», когда ему было 22 года): «Как Вам пришли в голову эти мысли?» Он тогда был лысый, я смотрел на его голову, он гладил голову и говорит: «А чёрт его знает как!» Конечно, не знал, как. Не только эти имена, много же было людей близких: Томашевский, Жирмунский, - которые были прикосновенны к формализму, и они тоже совершенно замечательные учёные. И просто много людей, которые работали в Институте истории искусств: Бухштаб (друг Л.Я.Гинзбург, автор статей, книг о Фете, о русской поэзии) и многие другие. Это была целая большая генерация.

Теперь о Чехове. С чеховедением в советское время плохо обстояло дело по такому, я бы сказал, случайному обстоятельству, что главными чеховедами были очень большие мерзавцы. Бывает такая случайность. Например, Пушкиным занимались прекрасные люди, ну были некоторые... Вот, например, Дмитрий Дмитриевич Благой начинал хорошо, а потом стал очень официальным учёным. Но в основном пушкинисты: Модзалевский, Цявловский, Томашевский, - все были прекрасными людьми. А вот чеховеды... самый главный был Ермилов, начиная с 40-х годов. Это был совершенно уникальный человек. В 1957-м году в Британской энциклопедии, которая всегда хвастается своей объективностью, написали о нём статью. Написали они так: Ермилов писал о Достоевском в 22-м году «Достоевский – великий писатель», в 34-м году – «Достоевский – реакционный писатель» и т.д., в 56-м году – «Достоевский – великий писатель» и т.д. В каждую следующую эпоху он меняет свою позицию на 180 градусов. Рассказывали, что в Переделкино, где была дача Ермилова (в России иногда на двери вешают табличку «Осторожно. Злая собака», чтобы не входили, а позвонили и хозяин вышел), кто-то ему на табличку, после слов «Осторожно. Злая...», подписал краской «и беспринципная». А Ермилов не любил выходить. Другие гуляли по Переделкино, а он нет, потому что его все не любили. И он из своей дачи два дня не выходил, а эта надпись висела, и все прочитали. Он о Чехове писал ужасные вещи, хотя его переводили, даже на японский язык одно время. С переводами была такая проблема: Советский Союз сам инициировал переводы. У Ермилова грубый социологический подход, хотя он человек не без способностей: быстро, легко и много писал.

А потом, только Ермилов перестал писать, появился Бердников – этот был ещё хуже. Когда в 1948-м году в Ленинграде было «дело космополитов», он был секретарём партийной организации. Под его руководством громили Эйхенбаума, Жирмунского и Бялого – очень хорошие он себе выбрал объекты. И Гуковского, самое главное. Гуковского арестовали, и он умер в тюрьме при неясных обстоятельствах, ему был всего 51 год. Может быть, он был болен, а там на допрос водили каждый час. Ну в 50-е годы, наверное, уже не били, но всё равно это было издевательство – он не выдержал и умер. А это был учитель Бердникова. Покойный профессор Эткинд, с которым я тоже общался в Ленинграде (Эткинд был учеником Жирмунского), рассказывал, что когда обсуждали Жирмунского, Бердников задал ему вопрос: «Скажите, Виктор Максимович, положи руку на сердце, нужна ли советским студентам Ваша книга “Религиозная философия немецкого романтизма”?» (Такая книга была у Жирмунского, и звучало это, конечно, очень ...: «религиозная», «философия», «романтизм»...) Но Жирмунский не смутился, сказал: «Да, я считаю, что такая книга нужна советским студентам». Тогда Бердников ко всем обратился и развёл руками, как бы говоря: теперь вы видите, кто перед вами, какой враг. Тогда Эйхенбаума уволили из Пушкинского дома. Тогда так поступали: многих не сажали в лагерь, а увольняли с работы, а так как работа была только государственная, то оставались люди без средств к существованию. Люди продавали книги. Кстати, Шкловский тоже продал свои книги после войны, когда его не печатали долго.

Вот такой был Бердников, и он сделал дальше карьеру. (В социалистических государствах во главе всегда Центральный Комитет Партии. Ну, вот Ким Ир Сен был во главе, теперь Ким Чен Ир, Дзянь Дземин, на Кубе – Фидель Кастро, а дальше по иерархии идёт Центральный Комитет. А в этом Центральном Комитете отделы: есть политические отделы, отдел науки, отдел культуры, который занимается исключительно культурой.) Бердников был заведующим отделом культуры, и когда вышла моя «Поэтика Чехова», я представляю себе, что он подумал: как же так, во-первых, не упоминается реализм. Эта книга не печаталась очень долго, 4-5 лет, она вышла, когда мне было 33 года. Мы подавали её на учёный совет, там был профессор Самарин, социолог, он говорил: «Я посмотрел книгу, там не упоминается, что Чехов писал накануне революции 1905 года». Все говорят: «Да, это очень плохо». Но я вёл себя глупо, мне потом опытные люди говорили, что надо было сказать: хорошо, я напишу, - и потом не написать, и все бы забыли. Но я был молодой, еще не опытный, - я не сказал, что я

Александр ЧУДАКОВ

вставлю про революцию. Ещё был Тимофеев Леонид Иванович, стиховед, теоретик, ему очень не нравилось, что не упоминается слово «реализм». Я эту категорию не употреблял, потому что я не знаю, что она значит, она такая расплывчатая, мне кажется она не совсем научной.

Но потом всё-таки мою книгу издали. По той причине, что я написал её вне плана института, и мне должны были дать за неё гонорар, и по тем временам хороший. А в издательстве «Наука» тогда была плохая финансовая ситуация, меня вызвал какой-то финансист и сказал: если я напишу заявление, что я отказываюсь от гонорара, то они издадут эту книгу. Я написал такое заявление. И когда институт узнал, что моя книга выйдет, они стали возмущаться, но финансовые органы сказали: это книга не по советской литературе, никакой идеологии, это Чехов, у нас тяжёлая финансовая ситуация, мы её издадим. Так она вышла, и я не получил ни копейки. И Бердников написал большую статью в журнал «Вопросы литературы». Ему очень не понравилась идея случайности: что, значит Чехов не понимает, что главное, что неглавное?! А он ведь писатель-демократ. Бердников также упоминал, что Чехов следил за студенческим движением, на Сахалине общался с политическими заключёнными. (Но он общался со всеми заключёнными: и с бандитами, и с ворами, со всеми, кто там сидел). И у меня это тоже не упоминается почему-то. Это был полный разгром книги, всё это, по его мнению, не советское литературоведение. Для меня это имело очень плохие последствия: меня не печатали в центральной печати семь лет. Но потом постепенно начали печатать, уже в Ленинграде, в журнале «Русская литература». Потом стала немножко меняться обстановка. Все думают, что всё началось с перестройки. Нет, за несколько лет до перестройки начала меняться ситуация, стало немножко легче.

Я ещё вспомнил такой казус. Может быть, молодое поколение не понимает, какое дело отделу культуры до научной книги о Чехове, где разбирается наррация, структура повествования. Этот отдел ЦК следил за всей литературой. Был тогда литературовед Бельчиков, 1890-го года рождения; он был совсем старый, когда вышла моя книга. А там у меня есть такой пример. Идея случайности заключается в том, что у Чехова много деталей, которые не прямо работают на сюжет, а случайны. Там приводится такой пример: лакей (официант) ресторана «Славянский базар» Николай Чикильдеев заболел, у него отнялись ноги. Он упал, когда шёл по коридору и нёс поднос, на котором была ветчина с горошком. Пришлось оставить место, т.е. его уволили. Официант, которому

трудно ходить, не может работать – всё понятно. Непонятно только одно: если бы на подносе была не ветчина с горошком, а рыба или севрюжина с хреном, - его бы выгнали всё равно. Таких деталей очень много, и у меня про них есть целая теория. Эти детали у Чехова прямо не функциональны, но зато они рисуют мир в целом; ведь наш мир, наша жизнь состоит из важного и неважного. Если мы начнём вспоминать свою жизнь, что мы делаем важного? Процентом 20, а остальное – мы делаем неизвестно что, куда жизнь наша уходит. И вот Чехов это очень хорошо понимал. А Бельчиков протестовал, говорил, что этой деталью – ветчина с горошком – Чехов хотел сказать следующее: в то время, как в России голод, в ресторане «Славянский базар» едят ветчину. Poleмика была на таком уровне. Если попробовать эти детали интерпретировать логически, получается большая глупость, но это никого не останавливало, и этому придавался какой-то, я бы сказал, политический оттенок, что, конечно, сейчас странно, но тем не менее это было так.

Для молодых исследователей важно знать следующее. Вы сейчас от некоторых людей, которые жили в 60-е годы, моего возраста или старше, наверное, услышите, что многие в своих книгах приводили цитаты из Хрущёва, из Брежнева. Например, книга о Гоголе, а там цитата из Хрущёва. Я слышал и от иностранных коллег: да, такое было время, нужно было. Вот вы этому не верьте. Я жил в это время и помню очень хорошо. Ни я, ни Мариетта Чудакова – мы никогда не ссылались ни на Ленина, ни на Хрущёва, ни на Брежнева, - ни на кого. И нас так прямо никто не заставлял. В 60-е годы на это была собственная воля. Конечно, лучше было подать статью, которая начиналась с цитаты из Брежнева, - она легче проходила. Если не было цитат из Ленина, это мешало, но всё-таки не обязательно это было. Например, в 50-е годы, когда была дискуссия о языке и Сталин выступил на ней со статьёй, всё было очень просто: человек приходил в редакцию, приносил статью, а ему вписывали цитату из работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». И у автора было безвыходное положение; он, когда видел уже потом вёрстку, он не мог сказать: всё хорошо, только уберите цитату из Сталина. Это была бы путёвка на виселицу, как говорят по-русски. Выхода не было. Но это в начале 50-х, а вот после 1956-го года ситуация изменилась. Я не говорю уже о 1937-м годе: тогда ничего нельзя было сказать, тогда люди рисковали жизнью, и что-то подписывали и т.д. А вот после 56-го, конечно, ситуация была тяжёлая, но кто не хотел, мог этого избежать. Исследователи делились всё-таки на два лагеря. Одни охотно включали это,

был такой сленг «поставить забор», т.е. в начале статьи «поставить забор» из всяких цитат, а потом писать умную статью. Мне всегда казалось, что если молодой человек, студент читает статью и видит этот «забор», у него не будет доверия к автору.

Сейчас 60-е годы это история, поэтому, когда вы будете беседовать с филологами, которые тогда работали, вы задавайте им такие вопросы, потому что это вы нигде не прочитаете. В то время уже очень многое зависело от людей, от личного отношения. Например, с Кафкой была сложная история: его долго не печатали, шесть или семь лет лежал, а потом переводчица на свой страх и риск напечатала. И много есть таких историй. Иногда потом было наказание у редактора такого журнала, иногда не было. Россия очень большая страна. Если бы было тогда побольше таких людей, если бы, например, тогда издали во Владивостоке книжку об Андрее Белом, то, может быть, она бы нескоро добралась до Москвы. Таких случаев было немного, но они были. Поэтому всё нужно рассматривать, как говорили марксисты, конкретно исторически, в этом они были правы. Но на марксистах мне как-то не хочется заканчивать своё сообщение.

Мы все себя считаем историками литературы. Исторический материал не должен быть одноплановым; например, если кто-то изучает древнерусскую литературу и основывается только на летописях, это недостаточно; можно привлекать также апокрифы (в апокрифах иногда бывают ценные вещи), свидетельства современников, иностранных путешественников. Но если вы будете только апокрифами заниматься, или только путешественниками, это будет неправильная история. У знаменитого путешественника Лудольфа в записях о России (а он записывал живую речь XVI века, это очень ценно) есть: «Ивановна, сходи на кухню и принеси мне водки». И он объясняет: «Ивановна» - это «женщина» по-русски. Представляете, если бы кто-нибудь стал изучать на основе этого русский язык.

Когда мы занимаемся историей литературы, то изучение должно быть многоплановым: во-первых, текст, внимательное изучение текста; во-вторых, все свидетельства, и, главное ещё, критика современников, это очень важно. Я, страшно сказать, 40 лет занимаюсь одной темой «Чехов в прижизненной критике», то есть собираю всю критику, которую писали о Чехове при его жизни. Я считаю, что прижизненная критика – особая. Когда человек умирает, все говорят, что это великий писатель, а когда он еще жив, - спорят с ним, и этот спор самый интересный. У меня уже собрано, наверное, 5000 номеров, статей о Чехове, а в науке фигурирует 200-300

статей, ну даже если 500 – это только 10 процентов. Когда я читал газеты «Амурские ведомости», или «Благовещенский вестник», или «Вологодские известия» и т.д. - некоторые из них, особенно почему-то газета «Владивосток», были не разрезаны. Лежит чистенькая, хорошая газета, её с 1901 года никто не читал. Я брал костяной ножик (кстати сказать, японский, мне подарили) и разрезал, а все читатели вокруг слышали звук и смотрели: что это он там режет. Один раз даже пришла библиотекарь; видимо ей сказали, что сидит человек и что-то всё режет. Вот такие материалы нужно собирать. Сейчас выходит интересная книжка «Пушкин в прижизненной критике», уже вышли три тома. Здесь должен быть тотальный обзор материала, не выборочный. Вообще, проблема библиографии очень сложна, но с другой стороны, наоборот, очень проста. Когда я учился, я слушал лекции одного библиографа профессора Бондарского, ему было 90 лет. Студенты сначала ходили, потом перестали, остался я один, и он читал лекции мне одному. Так вот он говорил: «Отбор не дело библиографа, это дело учёного; библиограф должен регистрировать всё».

Вы, конечно, далеко находитесь от русских газет. Например, в Хельсинки одна из лучших коллекций русских газет (это же была русская империя). Они почти всё уже перевели на плёнку, и когда я был в Гарварде, то заказывал плёнки из Хельсинки. И это было недорого – плёнка целого года газеты, кажется, восемь долларов. Если вы интересуетесь газетами до 1914 года, то я рекомендую, хорошая коллекция. Надо просто им написать, и они охотно присылают. Поэтому этим можно заниматься, это тоже входит в понятие исторического изучения литературы. В общем, надо изучать всё. На этом я заканчиваю.

Мицуюэси Нумано: Всё, что Вы сегодня рассказали, конечно, было чрезвычайно интересно. В Вашей лекции фигурируют легендарные имена, которые даже нам хорошо известны. Для наших молодых руссисов это очень полезно, потому что для Вас всё вспоминается живо, но это уже уходит в историческое прошлое. Для молодого руссиса, который начинает заниматься даже после перестройки, всё это надо изучать и знать. Я хотел спросить, как Вы смотрите на нынешнюю, послеперестроечную ситуацию в литературоведении? Что изменилось и что не менялось? Сейчас всё меняется к лучшему или...?

У меня пессимистическое отношение к литературоведческой ситуации, и не только в России. Самое главное, что теперь мы можем ставить Россию в ряд с другими странами, можем говорить: ситуация литературоведения в России, в Германии, в США – она похожа. Раньше у нас была другая ситуация. Хотя иногда некоторые вещи мне были непонятны. После перестройки в России очень активно начали заниматься религиозным содержанием русской литературы. Раньше – нет, по понятным причинам. Но меня очень удивляет, почему американские исследователи начали заниматься этим же после перестройки – им никто не мешал до 1988 года. Они занимались раньше, но немного. А теперь получается, что и американские, и немецкие учёные устроили конгресс в Баден-Вайлере, по-моему в 1989-м году, я тоже в нём участвовал. Он так и назывался «Чехов и религия». Почему они не устроили этот конгресс раньше, что мешало? Для меня этот вопрос непонятен.

Я буду говорить об общей ситуации. Во-первых, нет авторитетной школы. Я в Америку езжу не очень часто: примерно раз в три-четыре года, - и каждый раз я удивляюсь. Когда я приехал в первый раз, был Бахтин, Бахтин, Бахтин – все занимались Бахтиным; прошло четыре года, я приехал – Лотман, Лотман, Лотман, Бахтиным даже никто не занимается. Я приехал ещё через четыре года – Дерида, Дерида, Дерида; ещё через четыре года – рецептивная эстетика и т.д. Каждый раз что-то очень модное. Ну это американские студенты, они, как и во всём Америка, гонятся за модой. Но все эти школы – это всё какие-то частные вещи. Последней общей школой был именно структурализм, всё-таки; при всех его недостатках он имел в виду некоторые общие идеи. А после этого все разбрелись.

Всё время читаешь такие темы, скажем, «Гастрономия в русской литературе». Тема интересная: что ели в произведениях Гончарова, Лескова, Тургенева, Гоголя русские помещики. Но мне кажется, что эта тема очень частная, но она очень часто встречается. У меня был даже такой эпизод. Не буду называть имя одной довольно известной американской славистки, мы с ней были давно знакомы. Как-то она приехала в Россию, мы встретились, и она меня спрашивает: «А что Вы можете сказать об изображении кровати в русской литературе?» Я думал, что ей неудобно сказать «секс», «эротика» и она говорит в переносном смысле. И уже приготовился вспоминать, хотя в русской литературе немного про это, и вопрос сложный, это не французская литература и не современная, скажем, американская. Но выяснилось, что речь идёт о кровати в

прямом смысле, как изображается кровать. Я с большим трудом стал вспоминать, я ей сказал: «Извините, у меня голова структурирована другим образом: сюжет, фабула, а не кровать, диван, комната, лестница». Я с трудом вспомнил диван Обломова, кровать в «Двенадцати стульях» и что-то ещё. Я был в большом затруднении. Потом мне кто-то сказал, что она написала такую статью, - к сожалению, она не попала мне в руки. Мне кажется, это типичный пример частной тематики. Нет, я совершенно не против. Можно заниматься чем угодно: одеждой, обувью, - потому что особенно у большого писателя всё написано одной рукой и изоморфизм касается всего; предметный мир как-то связан со сферой идей. Но нужно иметь в виду, конечно, какую-то более общую идею.

У меня всегда тоска по тому, как работают в естественных науках: физики, они все работают рядом, один дополняет другого, и получается общее здание науки, а потом все куда-нибудь летают, на луну. У нас все работают разрозненно. Если бы один изучал одежду, другой обувь, кто-то транспорт, может быть создались бы компендиумы, тезаурусы предметного мира, скажем, середины XIX века. Но все работают по-разному. Берут опять же частные психологические проблемы: например, проблема страха у Чехова или Достоевского, - это тоже, конечно, важная проблема, но её нужно связывать с общим психологическим изображением у писателя. Когда я читаю такие работы, мне не хватает к ним введения, где бы автор говорил, для чего он это изучает. Так же обстоит дело с интертекстуальностью.

Я приведу примеры из работ. Все помнят «Героя нашего времени» Лермонтова. «У Лермонтова повторяется мотивная пара «огонь – вода», эти мотивы играют значительную роль в фабуле романа: Печорина в «Тамани» пытаются утопить, ...а также в ситуации, при которой Казбич похищает Беллу, когда она сидит у воды. «Огонь – вода» появляются и как атрибуты героев: глаза у Казбича «огненные», а общество в Пятигорске «водяное». Мотивы могут наблюдаться в имени героя: печь – как разновидность огня, а Печора – воды». Когда я читаю такие тексты, мне кажется, что автор шутит, но он не шутит. Там написано, что мотив «огонь – вода» проявляется в том, что Печорин пьёт минеральную воду. По-моему, там совсем не в том дело, что он пил эту воду. Я такие вещи совершенно не понимаю. Есть такая книга о Чехове Савелия Сендеровича (он из Итаки) «История одной одержимости Чехова». Речь идёт об образе Георгия Победоносца: во-первых, дед Чехова Павел Егорович (или Павел Георгиевич) – связь с Георгием Победоносцем; во-вторых, икона Георгия Победоносца висела у

Чехова в доме. Но она висела ещё в тысячах русских домов. Ну и т.д. Особенно меня поразило: в повести «Степь» один из извозчиков убивает маленькую змею – мотив убийства змея Георгием Победоносцем. Чехов – он был человек весёлый, юморист – я думаю, долго бы смеялся. У меня много таких работ: и русских, и немецких и т.д.

Об интертекстуальности. Мне это всегда казалось немножко сомнительным. Все знают комментарий Набокова к «Евгению Онегину». Комментарий совершенно замечательный, хотя там много индивидуального и лишнего или специального: например, он говорит о вариантах перевода на английский, – для переводчиков это, конечно, важно, для остальных, может быть, не очень. Он комментирует место «Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чередою. С любовью лечь к ее ногам!»: оказывается у Вордсворта, у Лейкийской школы в Англии, вообще у очень многих английских поэтов есть такой мотив. Всегда приятно видеть такую эрудицию, как у Набокова, он знал всю английскую поэзию очень хорошо. Но, я думаю, может быть, Пушкин Вордсворта и читал, но он не очень увлекался английской поэзией, за исключением Байрона, и то его читал во французском переводе. Я думаю, что этих текстов он не знал, тогда не совсем понятно, зачем их приводить. Но это давний пример.

А сейчас все занимаются примерно так: что-то находят, и здесь бывают случаи просто анекдотические. Например, я редактировал один сборник Чехова: «Три сестры», там мещанка Наташа приходит к трём сестрам, интеллигентным девушкам, на день рождения, в розовом платье и с зелёным поясом. Понятно, что хотел сказать Чехов; правда, современной молодёжи это, может быть, не очень понятно, сейчас встречается любое сочетание цветов, но во времена Чехова это было действительно непонятно. Автор этой статьи говорит, что в Первой песне «Божественной комедии» Данте есть зелёные гидры, которые опоясывают что-то розовое, и что Чехов это имел в виду. Я ей говорил, что это странно, предлагал ей убрать это из статьи, но она не согласилась.

Интертекстуальность очень часто устанавливают по формальному признаку: это есть у Толстого – это есть у другого, и соединяют. Я не знаю причину такой методики, но в последнее время мне кажется, что причина очень простая – это очень легко: можно положить две книги и искать (не ездить в библиотеки), и можно за один вечер сочинить статью. Может быть, поэтому, а может быть, я просто плохо думаю об исследователях. Много русских исследований посвящено этой проблеме. Я бы не протестовал, если бы была поставлена задача: например, доказать, что Чехову был знаком какой-либо текст,

это важно. Например, книга была в библиотеке Пушкина; вся библиотека, как мы знаем, сохранилась, описана, и можно взять в библиотеке и почитать (это уже хорошо), и посмотреть, как этот мотив трансформировался в художественной системе Пушкина, что он сделал из этого мотива, как он его изменил; он же не просто процитировал, а он как-то изменил его.

Если проанализировать эту структуру, связанную со структурой его художественного мира, его поэтикой, то такую интертекстуальность я очень приветствую. Но это почти никогда не делается, обычно просто констатируются какие-то совпадения, синтаксические совпадения (русский синтаксис достаточно свободен, но всё-таки тоже ограничен, не всё там можно). Мне кажется, что эта мода пройдёт. Почему мне американские студенты не очень нравятся: они как-то не понимают, что моды проходят. У меня есть один знакомый преподаватель, вот он как раз писал то в духе Бахтина, то Лотмана, - а моды проходят и, в результате, его старые статьи никто не читает, потому что это было модно тогда. Нужно пытаться заниматься вещами более объективными, миром писателя в целом, потому что эта мода никогда не пройдёт. Потому что мы должны мир писателя описать, не очень даже важно, в какой терминологии, если вам близка структуралистская – в структуралистской, можно описать в традиционной терминологии. Хорошая мысль, она всегда остаётся. Вот Л.Я. Гинзбург писала, она не использовала какие-то новейшие терминологии, но у неё каждая запись очень ценна; кто-то сказал, что у неё из одной записи можно сделать две кандидатских диссертации. И это правда, там есть мысли о мире писателя. И если будет в работе идея трансформации другого текста, пратекста, как сейчас любят говорить, то это, конечно, ценно. Но для этого нужно сначала установить структуру автора, которого вы изучаете, а потом смотреть как он трансформирует что-то.

Например, у Чехова рассказ «Студент»: речь идёт о знаменитом библейском месте последней ночи Христа. Я, еще до интертекстуальности, пробовал об этом писать: как Чехов видит это, исходя из своей поэтики. Он обращает внимание на то, что Петру было холодно, он устал, грелся у костра; в Евангелии очень мало предметных деталей, у Чехова гораздо больше. Что он делает из этого текста? И не только он, многие писали на библейские темы: если взять Томаса Манна «Иосиф и его братья» это два толстых тома, а в Библии, наверное, страниц 12. Он, в связи с мировоззрением писателя нового времени, совсем сделал из этого другое. Есть такая легенда: когда машинистка напечатала этот

Александр ЧУДАКОВ

роман, она сказала: наконец-то я знаю, как это было на самом деле. Потому что в Евангелии всё очень коротко, а тут все детали, быт того времени, колодец, овцы. Если интертекстуальность такая, то я её целиком приветствую, она очень полезна, но мне такие работы почти не попадаются.

Q: Вы преподаёте в МГУ, да? Два-три года назад Вы читали про Пушкина, я приходил к Вам на занятия. Мы с Вами вместе читали речь Достоевского о Пушкине. Мне очень понравилась Ваша лекция об «Онегине», медленное чтение. У меня такой вопрос: чего Вы ожидаете от иностранных исследователей? Какая работа для нас возможна?

Во-первых, я считаю, что иностранные студенты очень много могут сделать полезного. Я приведу один пример. Во всём мире Бахтин был очень популярен и сейчас тоже, например, я был на конгрессе в Мексике: оказывается, там выходит журнал о Бахтине, не периодически, но часто выходит; они собрали международный конгресс, оплатили всем проезд и проживание в Мексике (это довольно дорогое удовольствие); приехало человек 50 и они все изучают Бахтина. Там было множество докладов: например, «Бахтин и колониализм» (к сожалению, на испанском языке, и никто из нас не мог прочитать и мы не знаем, какое отношение имеет Бахтин к колониализму); доклад украинской канадки «Бахтин и гендерная проблематика», хотя мы по-украински понимаем, было не очень понятно, причем здесь Бахтин. Я почти каждый год бываю в Гамбурге, там есть у меня один знакомый немецкий студент (сейчас уже аспирант, и уже даже профессор, хотя он молодой), он занялся истоками Бахтина, немецкими, и он посмотрел Фрайбургскую школу, Марбургскую школу, неокантианство и т.д., - всё, чем интересовался молодой Бахтин. Мы, конечно, тоже это читали, но немножко и отрывочно, у нас нет этой литературы, мы этим не занимаемся. А у него немецкое философское образование, он очень серьёзный, и получилась у него статья об истоках раннего Бахтина, чрезвычайно интересная, мне казалось, что её надо перевести на все языки. У нас иногда думают, что у Бахтина его теории появились, как Афина из головы Зевса вышла, - у него тоже есть истоки, у всех есть свои истоки. Я не знаю, имеет ли истоки Конфуций; кажется, до него не было философов, но все уже после Конфуция имеют свои истоки.

Мне кажется, что в том случае, когда русский, или вообще славянский, писатель связан с какой-то страной и, например, с востоком, то выявить эти связи очень важно. Например, в «Евгении Онегине» есть такое место, когда «Ещё амуры, черти, змеи На сцене скачут и шумят...»: амуры – греческая мифология, черти – русская мифология, змеи – восточная мифология, - совершенно непонятно, что за балет смотрел Евгений Онегин. Все удивлялись, пока один балетмейстер не нашёл, что был такой балет, в котором соединились восточные, греческие и прочие черты. Скажем, в «Даме с собачкой»: от неё пахло духами, купленными в японском магазине, - деталь, как будто обычная, но никто не раскрыл, когда появились японские магазины в России, были ли они популярны. Духи всегда значимая вещь: они могут сказать о том, принадлежит ли женщина высокому свету или она из среднего сословия.

Q: Она не могла в Париже в японском магазине их купить?

Нет, Анна Сергеевна не бывала в Париже, это была её первая поездка вообще, она только что вышла из пансиона. Понимаете, вот такая мелочь, но кому этим заниматься, как не японским студентам, тем более если они любят заниматься не интертекстом, а реальными вещами. Я просто вижу целую статью о проникновении японской культуры: 1898 год – уже есть магазин в Ялте, в Петербурге – наверное, много, а в Москве? Таких деталей немного, но они есть не только у Чехова, если их собрать и посмотреть, можно обнаружить связи. Эта работа кропотливая, но не такая уж сложная, ей может заняться любой студент, даже начинающий.

Ещё один важный вопрос – о восприятии. Когда я здесь, в Японии, читаю лекции, я всё время задаю себе вопрос: почему в Японии так популярен Чехов? Пока ещё никто не ответил на этот вопрос, но это, конечно, очень интересно. Случайного здесь не бывает, вот, скажем, почему он не так популярен в Китае; или, может быть, в Индии – совсем не популярен. Тоже культуры восточного типа, дзен-буддизм, но как-то нет... Если посмотреть ментальность определённой культуры, где он популярен, тогда откроются какие-то новые явления в Чехове. Например, Нобуюки Накамото занимается проблемой «Чехов и пустота», не совсем понятно, что это такое, но всё равно интересно, или у него есть такая статья «Чехов-рыболов». Когда он на разных конгрессах делает доклады, то мы чувствуем, что это какой-то другой материал, во всяком случае, нам

Александр ЧУДАКОВ

совершенно не знакомый. Я думаю, что с этой точки зрения очень интересно посмотреть первые отклики на Чехова, на переводы, что писали критики, и что они видели в Чехове, что они видели потом, - такие вещи очень важны. Мне кажется, что это первое... ну потом, может быть, что-то ещё...

Q: Вы общались с Шкловским. Что он говорил об Андрее Платонове? Читали ли Вы Андрея Платонова, что Вы о нём думаете?

Я, конечно, читал Андрея Платонова, но это особая тема, я же не могу сейчас сделать доклад об Андрее Платонове. Это очень интересное явление: Андрей Платонов пытался принять эту систему каким-то образом в себя, не так её полностью оттолкнуть, а как-то переработать. Но из этого на самом деле ничего не вышло, но он пробовал, и получился «Котлован» и т.д. Это очень интересная проблема, но она более сложная, чем у Булгакова, который не принимал сразу, или Замятина. Это большие писатели, но в каком-то смысле она проще: вы берёте роман «Мы», или «Мастер и Маргарита», или «Собачье сердце», и вам совершенно ясно, как автор относился к этим идеям. А когда вы берёте Платонова (или Зощенко, это тоже очень интересно)... он говорил, что нам нужен красный Лев Толстой, это шутка, но он считал, что нужен какой-то писатель, который бы советскую действительность как-то преломил, понял. Вообще многие пытались найти в этой советской действительности что-то положительное, даже Эйхенбаум писал о статьях Ленина о Толстом: писал очень трудно, тяжело, пытался найти там что-то. Но ведь это статьи рядового журналиста: что-то справедливо, что-то нет, и вот Эйхенбаум пытался там что-то найти... это сложно.

Шкловский ничего о Платонове не говорил, только один раз он упомянул, что Платонов жил там, где сейчас Литературный институт, ходил по этому двору и чуть ли не подметал этот двор. Кажется, эта легенда не совсем правильная, может быть, он и не подметал этот двор, я не знаю. А больше не упоминал. Я старался у него спрашивать, но обо всех нельзя было расспросить. Потом уже я думал, что надо было спросить и это, и то, но потом уже, к сожалению... Как сказал один мой знакомый, когда я огорчился, что не спросил некоторые важные вещи, не успел: «Ты не расстраивайся, потом ТАМ поговорите». Остаётся ждать, правда, неизвестно... Вдова Виноградова, когда ей было 92 года (через два года она умерла), говорила, что умирать ей не страшно, но огорчает её

Судьбы русской филологической науки в 50-60-х годах XX столетия

только одно: она не уверена, как там всё устроено, встретится ли она там с Виноградовым, и что, если бы она знала, что она с ним там встретится, то у неё бы не было никаких претензий ни к кому, но она боится, что там так всё неизвестно, слишком много людей или что-нибудь ещё. Она боялась, что там его не встретит; и когда она об этом говорила, даже плакала, так она расстраивалась. Но кто там встречается, нам, к сожалению, никто не сообщает, и нам всем это предстоит узнать только потом, но мы не расскажем, как это было...

Спасибо вам всем за внимание.

(Текст лекции для публикации подготовили Екатерина Гугова и Мицуёси Нумано)